

Сергей Патрушев



Мафия

Сергей Патрушев

Мафия

«Автор»

2026

Патрушев С.

Мафия / С. Патрушев — «Автор», 2026

Рим, пропитанный дождём и запахом машинного масла. Двенадцатилетний Алессандро Росси в одночасье теряет семью в огне, который устроили коллекторы. Оставшись один на жестоких улицах Вечного города, он даёт себе клятву: найти и покарать убийц, во что бы то ни стало. Голод, лихорадка и попытка украсть бумажник у случайного прохожего приводят его в логово мафии. Таинственный Дон Вито разглядит в отчаянном мальчишке «огонь» и сделает его своим секретным оружием. Из уличного оборванца Алессандро превращается в Сандро по прозвищу «Библиотекарь» — хладнокровного и безжалостного исполнителя, чья рука никогда не промахивается. Путь наверх устлан пеплом прошлого и кровью настоящего. Предательства, войны кланов и чужие смерти заглушают голос совести. Когда пепел остынет, сможет ли он разглядеть в зеркале того мальчика, который когда-то мечтал о красном "Альфа-Ромео" или увидит лишь тень, навсегда связанную с мафией? Мрачная гангстерская сага о мести, верности и потере человечности.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Пепел	5
Г	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Сергей Патрушев

Мафия

Глава 1. Пепел

Запах машинного масла въелся в стены нашего дома так же глубоко, как и в отцовские руки. Это был не просто запах — это была сама сущность нашего существования, невидимая, но вездесущая субстанция, пропитавшая каждый кирпич, каждую половицу, каждую складку одежды. Я родился в этом запахе, я рос в нем, я дышал им, как другие дети дышат морским бризом или горным воздухом. Иногда, когда я проходил мимо отцовской мастерской, этот запах становился гуще, плотнее, он обволакивал меня, словно невидимое одеяло, и я чувствовал себя защищенным. Запах машинного масла означал, что отец рядом, что он работает, что всё идет своим чередом, что жизнь продолжается — размеренная, трудная, но понятная и от этого удивительно спокойная.

Мать жаловалась иногда — в шутку, конечно, — что даже хлеб у нас пахнет бензином. Она доставала из старой духовки, перекошенной и вечно требующей ремонта, румяную чиабатту, подносила к лицу, вдыхала и качала головой с притворным отчаянием. «Марко, — говорила она отцу, и в голосе ее звенел смех, — твои машины пробрались даже в мою кухню. Скоро паста будет отдавать моторным маслом». Отец смеялся в ответ, вытирая руки тряпкой, всегда висевшей у него на плече, — тряпкой, которая сама была пропитана маслом до такой степени, что казалась живым организмом, — и отвечал, что лучшего аромата для дома он и представить себе не может. «Масло, — говорил он, — это кровь машин. А машины — это наша жизнь. Так что в нашем доме пахнет жизнью».

Я не совсем понимал тогда смысл этих слов, но чувствовал, что за ними стоит какая-то важная правда. Правда человека, который всю свою жизнь провел среди моторов, поршней, трансмиссий и карбюраторов. Для отца машины действительно были живыми существами. Он разговаривал с ними, когда работал — негромко, почти интимно, словно беседовал со старыми друзьями. Он гладил ладонью капот «Фиата» синьоры Альбертини так же нежно, как мать гладила мои волосы перед сном. Он слушал двигателя — прикладывал ухо к капоту, замирал, прикрывал глаза, — и по едва уловимым нюансам, по тону и ритму стука поршней определял болезнь, как врач определяет болезнь по сердцебиению пациента. «У этого карбюратор кашляет», — говорил он, и я нисколько не сомневался, что он действительно слышит кашель. «А у этого сцепление хромает на левую ногу». И он лечил их — своими грубыми, покрытыми мозолями и въевшейся грязью руками, которые обладали невероятной, почти волшебной чуткостью.

Наш квартал Сан-Лоренцо был одним из тех мест, которые туристические карты обходят безразличным молчанием. Он не значился в путеводителях, его не показывали на открытках, его избегали таксисты, когда везли богатых иностранцев от Колизея к фонтану Треви. Но для меня это был целый мир, гораздо более реальный и живой, чем тот, парадный, сусальный Рим с его мраморными фасадами и толпами фотографирующихся японцев. Сан-Лоренцо был лабиринтом узких улочек, стиснутых облупившимися стенами домов, которые стояли так близко друг к другу, что соседи с противоположных сторон могли здороваться за руку, высунувшись из окон. Белье на веревках, протянутых между домами, образовывало над головой второй, матер-

чатый небосвод — белые простыни, цветные рубашки, детские штанишки, развевающиеся на ветру, словно флаги какого-то удивительного королевства. Внизу, в тени этих флагов, кипела жизнь: старухи в черных платках сидели на складных стульях у порогов, перебирая четки и перемывая кости соседям; мальчишки гоняли мяч прямо по мостовой, лавируя между припаркованными мопедами; торговец фруктами толкал свою тележку, выкрикивая названия товара хриплым, надтреснутым голосом, привыкшим перекрывать уличный шум; из открытых окон неслись звуки радио, обрывки разговоров, звон посуды, детский плач и женский смех — вся та симфония повседневности, которая составляла музыку нашей жизни.

Я знал этот квартал так, как знают собственное тело. Я мог пройти от нашего дома до булочной синьора Альбертини с закрытыми глазами, ориентируясь по запахам, звукам и фактуре брусчатки под ногами. Я знал, что у третьего фонаря от угла нужно пригнуться — там низко свисает бельевая веревка синьоры Конти, которая сушит простыни так, словно хочет перегородить улицу. Я знал, что у дома номер семнадцать живет злющий пес, который бросается на решетку с такой яростью, будто мечтает разорвать каждого прохожего, но на самом деле боится даже собственной тени. Я знал, что за ржавой железной дверью в переулке — вход в заброшенный подвал, где старшие мальчишки курят украденные у отцов сигареты и рассказывают друг другу истории, от которых кровь стынет в жилах: про мафию, про убийства, про людей, которые ушли и не вернулись.

Отец держал автомастерскую в полуподвале нашего дома. Это было удивительное место — настоящая пещера сокровищ для мальчишки, одержимого механизмами. Три ремонтные ямы уходили в темную глубину, и я иногда заглядывал в них, лежа на животе на холодном бетонном полу, и воображал, что это входы в подземное царство, населенное механическими чудовищами. Два подъемника — один старый, советский, доставшийся отцу от предыдущего владельца, работающий на честном слове и невероятном упрямстве, и второй, поновее, но вечно ломающийся именно тогда, когда он был нужнее всего. Инструменты, разложенные вдоль стен, — целая армия гаечных ключей, отверток, пассатижей, молотков всех размеров и форм, от микроскопических, для тонкой работы с карбюраторами, до устрашающей кувалды, которой отец, как он шутил, «лечил особенно упрямых пациентов». Всё это было разложено с почти маниакальной аккуратностью, не свойственной автомеханикам, — отец терпеть не мог беспорядок в инструментах. «Если ты не можешь найти нужный ключ за три секунды, — говорил он, — ты теряешь деньги. А если ты теряешь деньги, ты теряешь уважение. А уважение потерять легко, а вернуть почти невозможно».

Марко Росси был человеком из другого времени, из той эпохи, когда слово мужчины весило больше, чем подписанный контракт, а рукопожатие скрепляло сделки надежнее печати нотариуса. Он был невысок, но кряжист и силен — годы работы с металлом выковали из его тела нечто монументальное, несокрушимое, как скала. Руки его были покрыты сетью шрамов и мозолей, каждый палец хранил память о какой-нибудь травме, полученной в битве с особо строптивым механизмом. Ногти его были вечно черными от въевшейся грязи — сколько он их ни чистил специальной щеточкой, масло не желало покидать своего убежища под ногтевыми пластинами. Но при всей своей внешней грубости отец был человеком удивительной душевной тонкости. Он мог починить всё, что имело двигатель и колеса, — от допотопного мотороллера, помнившего еще времена Муссолини, до новенького «Мерседеса», который богатый клиент пригнал из Германии. И он никогда не брал лишнего с тех, кто не мог заплатить. «С деньгами сегодня, без денег завтра, — объяснял он мне, когда я спрашивал, почему он возится целый день с машиной старого Федерико, который никогда не платит вовремя. — Старый Федерико

помнит меня еще мальчишкой, он дружил с моим отцом. Как я возьму с него деньги? Это всё равно что взять деньги с собственной памяти».

Такие разговоры западали мне в душу глубже, чем любые проповеди в церкви. По воскресеньям мать водила меня на мессу, и падре Джованни говорил о добродетели, о милосердии, о любви к ближнему — но все эти слова оставались словами, красивыми и пустыми, как золоченые рамы икон. А то, что говорил отец, было живым, теплым, осязаемым. Это была не теория морали, а сама мораль, воплощенная в поступках, в выборе, который он делал каждый день, предпочитая человеческое отношение сиюминутной выгоде.

«Сынок, — говорил он мне, когда мы сидели вечером у входа в мастерскую, глядя, как солнце садится за крыши Сан-Лоренцо, — в жизни есть вещи, которые важнее денег. Семья. Честь. Верность слову. Если ты потеряешь деньги — заработаешь новые. Если потеряешь здоровье — может, поправишься. Но если потеряешь честь — пиши пропало, назад не вернешь. Честь как стекло: разобьешь — осколки соберешь, но целым оно уже не будет. Запомни это, Алессандро. Что бы ни случилось в твоей жизни — помни, кто ты и откуда. Помни, что фамилия Росси чего-то стоит. И не позволяй никому заставить тебя забыть об этом».

Я запомнил. Я запомнил каждое слово. И потом, когда всё случилось, когда мир обрушился и погреб меня под обломками, эти слова стали единственным, что уцелело, — фундаментом, на котором я начал строить себя заново.

Мать была под стать отцу, хотя и совсем другой. Мария Росси — в девичестве Мария Конти, из семьи неаполитанских портных, — принесла в наш дом не только южную красоту (темные глаза, смоляные волосы, смуглая кожа, словно впитавшая в себя всё солнце Кампаний), но и южную страстность, и южное упрямство. Она была маленькой, хрупкой на вид, но в этом хрупком теле жила невероятная сила, та особая женская мощь, которая выдерживает любые удары судьбы, не ломаясь. Ее руки, всегда унизанные наперстками и исколотые иглами, творили чудеса. Комнатка на втором этаже, служившая ей мастерской, была царством тканей, ниток, кружев и выкроек. Манекены — три штуки, старые, с облупившейся краской и деревянными подставками — стояли вдоль стен, словно безмолвные призраки женщин, для которых мать шила платья. Отрезы тканей, свернутые в тугие рулоны, громоздились на стеллажах до самого потолка — бархат и хлопок, шелк и шерсть, ситец и муслин, всех цветов и оттенков, от скромного серого до вызывающе-алого. Катушки ниток, сотни катушек, выстроились на полках в каком-то особом, только матери понятном порядке. И поверх всего этого витал запах — не масла, нет, — запах горячего утюга, крахмала и сухих цветов. Лаванда. Мать всегда держала на подоконнике горшочек с лавандой и клала сухие веточки между тканями, чтобы отпугивать моль. Запах лаванды стал для меня вторым запахом дома, более нежным, более тонким, но таким же родным.

У матери был удивительный дар — она могла превратить самый дешевый, самый невзрачный материал в наряд, выглядевший так, будто его сшили в модном римском ателье, где одна примерка стоит больше, чем мы тратили на еду за месяц. Она брала обрезки, которые другие швеи выбросили бы за ненадобностью, и составляла из них лоскутные композиции, игравшие цветом и фактурой, как картины импрессионистов. Она могла перешить старое, вышедшее из моды платье так, что оно начинало выглядеть остро-современно, словно только что с подиума. Синьора Альбертини, жена пекаря, полная женщина с вечно испачканными мукой руками и добрым сердцем, однажды появилась в церкви в платье матери, и по рядам прихожан пронесся шепот изумления. Все решили, что Альбертини тайно разбогатели, получили наследство или

выиграли в лотерею. А секрет был прост: платье, стоявшее в магазине целое состояние, мать сшила из обрезков, отданных ей за гроши торговцем тканей, который закрывал лавку и распродавал остатки. «Красота не в цене ткани, Але, — говорила мать, щурясь и продевая нитку в иголку, — красота в руках, которые шьют. И в глазах, которые смотрят. Если у тебя есть вкус и умение — ты из мешковины сделаешь королевский наряд. А если нет — хоть золотом расшивай, всё равно выйдет безвкусица».

Эти слова я тоже запомнил. Они касались не только шитья — они касались всей жизни. Мать учила меня видеть суть вещей, не обманываться внешним блеском, ценить содержание, а не обертку. Она учила меня этому каждый день, своими руками, своими поступками, своим отношением к миру. И я впитывал эти уроки, даже не осознавая этого.

Я любил наши вечера. Это было самое лучшее время — когда рабочий день заканчивался и мы собирались вместе за старым дубовым столом на кухне. Стол этот был, наверное, ровесником нашего дома — массивный, потемневший от времени, исцарапанный ножами и вилками нескольких поколений. Столешница его была испещрена отметинами — тут пятно от пролитого вина на чьей-то свадьбе, там выжженный след от горячей сковороды, здесь царапина, оставленная, когда кто-то в сердцах стукнул кулаком во время спора. Я любил водить пальцами по этим следам времени, воображая истории, стоявшие за каждым из них. Отец возвращался из мастерской, уставший до изнеможения, но непременно с улыбкой и шуткой. Он мыл руки долго и тщательно, оттирая масло специальной пастой, но оно всё равно оставалось в порах, в складках кожи, под ногтями — как ни старайся, до конца не смоешь. Потом он садился за стол, и мать подавала ужин. Простая еда — паста альо ольо, спагетти с чесноком и маслом, иногда с анчоусами, если удавалось купить их подешевле у торговца рыбой в конце дня. Хлеб, который мы макали в оливковое масло, налитое в старую жестяную мисочку с облупившейся эмалью. По воскресеньям — курица, запеченная с розмарином и картофелем, или мамина особая лазанья, рецепт которой передавался в ее семье из поколения в поколение и держался в строжайшем секрете. «Когда ты вырастешь и женишься, — говорила мать, — я передам рецепт твоей жене. А пока — даже не спрашивай. Семейные секреты — это серьезно».

За едой мы разговаривали. Обо всем на свете. Отец рассказывал о машинах, которые прошли через его руки за день, и каждая история была маленьким приключением. «Представьте, приезжает сегодня синьор Феррари, — начинал он, и мы уже заранее улыбались, потому что синьор Феррари был нашим соседом, никакого отношения к знаменитой автомобильной династии не имевшим, но отчаянно гордившимся своей фамилией. — И говорит: Марко, моя малышка заболела, она кашляет и чихает, спаси ее. Я открываю капот, а там...» И дальше следовало описание такого невероятного хаоса под капотом, что мы с матерью покатывались со смеху.

Мать рассказывала о клиентках — с кем было легко работать, а кто мучил ее бесконечными переделками. «Синьора Палладино, — говорила она, закатывая глаза, — заказала платье, потом передумала и захотела блузку, потом передумала и захотела юбку, потом принесла какую-то вырезку из журнала и сказала: сделайте вот так, но только совсем по-другому». Мы смеялись, представляя себе растерянное лицо синьоры Палладино, которая была известна всему кварталу своей способностью менять решения по десять раз на дню.

А я рассказывал о школе. О брате Паоло, монахе-францисканце, который преподавал нам математику и обладал удивительной способностью засыпать с открытыми глазами прямо во время урока. О мальчишках, с которыми мы гоняли в футбол на пустыре за церковью. О

моих мечтах — когда я вырасту, я стану автомехаником, как отец, и, может быть, когда-нибудь куплю красный «Альфа-Ромео», на котором мы поедем к морю, в Остию, все вместе.

Это были счастливые вечера. Самые счастливые в моей жизни, хотя тогда я этого не понимал. Счастье вообще редко осознается в моменте — оно ощущается потом, в воспоминаниях, когда ты оглядываешься назад и понимаешь, что вот тогда, в тот самый вечер, за старым дубовым столом, с пастой альо ольо и смехом родителей, ты был абсолютно, безоговорочно счастлив. И ничего больше не нужно было — ни богатства, ни славы, ни власти. Только этот стол, этот смех, эти руки отца, пахнувшие маслом, эти глаза матери, светящиеся любовью.

Проблемы начались примерно за полгода до того вечера. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что первые признаки появились даже раньше, но я, двенадцатилетний мальчишка, занятый школой, футболом и мечтами о красном «Альфа-Ромео», просто не замечал их. Взрослые умеют прятать свои тревоги от детей — это особый талант, выработанный веками родительства. Они улыбаются, когда хочется плакать. Они говорят «всё хорошо», когда всё рушится. Они создают иллюзию стабильности, даже когда земля уходит из-под ног.

Но дети всё равно чувствуют. Каким-то звериным чутьем, инстинктом, доставшимся нам от далеких предков, которым нужно было знать, не крадется ли хищник во тьме пещеры. Я начал замечать, что отец стал другим. Нет, внешне ничего не изменилось — он всё так же уходил в мастерскую на рассвете и возвращался к ужину, всё так же шутил и улыбался, — нечто-то в его улыбке появилось натужное, искусственное, как будто он натягивал ее на лицо усилием воли. Он стал позже ложиться спать — я слышал сквозь сон его шаги по гостиной, тяжелые, медленные, шаги человека, который носит на плечах невидимый груз. Иногда он вставал среди ночи и выходил на улицу, и я видел из окна своей комнаты огонек его сигареты в темноте — маленький красный светлячок, дрожащий в ночи.

Мать тоже изменилась. Она перестала петь за работой — а ведь раньше ее голос, негромкий, но чистый и мелодичный, постоянно звучал в доме, выводя старые неаполитанские песни, которым ее научила еще бабушка. Теперь в ее комнате стояла тишина, нарушаемая только стрекотом швейной машинки и сухим треском ножниц, разрезающих ткань. Она стала раздражительной — вздрагивала от неожиданных звуков, могла сорваться на меня из-за пустяка, а потом тут же извиниться, прижать к груди, поцеловать в макушку и прошептать: «Прости, Але, мама просто устала». Но я видел в ее глазах не просто усталость — я видел страх. Глубинный, затаенный страх, который она прятала за улыбкой и ласковыми словами, но который всё равно просачивался наружу.

Однажды ночью я проснулся от громких голосов внизу. Было около двух часов, судя по положению луны за окном — я тогда умел определять время по звездам, этому меня научил отец. Голоса звучали приглушенно, но в ночной тишине, когда весь дом замирает, каждый звук слышен особенно отчетливо. Родители спорили. Я никогда раньше не слышал, чтобы они спорили — по крайней мере, так, на повышенных тонах, с теми рваными, напряженными интонациями, которые не спутаешь ни с чем. Я выбрался из постели, стараясь не скрипеть половицами — в нашем старом доме каждая половица имела свой голос, и я знал их все, — прокрался к лестнице и затаился в темноте, там, где перила образовывали тень, непроглядную даже днем.

«Марко, сколько еще мы сможем тянуть?» — голос матери дрожал, срывался, и в нем звенели слезы, которые она изо всех сил сдерживала.

«Я что-нибудь придумаю, Мария. Дай мне время. Просто дай мне еще немного времени». Голос отца звучал глухо, устало, как будто он повторил эту фразу уже сотню раз и сам перестал в нее верить.

«Время! Ты просишь время уже не первую неделю. А они ждать не будут, Марко. Ты знаешь этих людей. Ты знаешь, что они делают с теми, кто не платит».

«Тише, Мария, тише. Алессандро спит».

«Алессандро спит, — эхом повторила мать, и в ее голосе послышалась горечь. — А что будет с Алессандро, если с нами что-то случится? Ты подумал об этом?»

Повисла пауза — тяжелая, давящая, полная невысказанных страхов. Я затаил дыхание, боясь, что стук моего сердца, колотившегося где-то в горле, выдаст меня.

«Я думаю об этом каждую минуту, — ответил отец. — Каждую минуту, Мария. Но выхода нет. Я не могу пойти в полицию — ты знаешь, чем это кончается. Я не могу попросить помощи у... других людей. Это будет означать, что я должен им, а долг в нашем мире — это навсегда. Я сам влез в это, сам и выберусь».

«Сам... — мать горько усмехнулась. — Ты уже не сам, Марко. У тебя есть мы. Твои долги — это наши долги. Твои проблемы — это наши проблемы. И если ты этого не понимаешь, то ты глупец».

Я не дослушал. Вернулся в постель, накрылся одеялом с головой и долго лежал в темноте, глядя в потолок, на котором плясали тени от уличного фонаря. Слова родителей крутились в голове, складываясь в картину, которую я не хотел видеть, но которая уже стояла перед глазами, как мозаика, собранная против воли. Отец кому-то должен. И эти «кто-то» — не банк, не скучающий клерк с вежливыми письмами и стандартными напоминаниями. Это люди, которых боятся. Люди, о которых шепчутся мальчишки во дворе. Люди, которые приходят и требуют свое — и горе тому, кто не может отдать.

Позже, по обрывкам разговоров, случайно услышанным фразам, тихим перешептываниям соседей, я начал восстанавливать полную картину. Это заняло недели, может быть, месяцы — я собирал информацию, как детектив, по крупным, по намекам, по тому, что говорили и, главное, чего не договаривали. Отец взял деньги в долг около года назад. Ему нужно было обновить оборудование — старый подъемник окончательно умер, а диагностический компьютер стал необходимостью, потому что современные машины уже невозможно было чинить «на слух», как он привык. Машины становились сложнее, электроника вытесняла механику, и чтобы оставаться на плаву, нужно было соответствовать времени. Банки с такими, как мы, не разговаривали — маленькая мастерская в бедном квартале не считалась надежным обеспечением кредита. Отец обивал пороги банков, заполнял бесконечные анкеты, предоставлял какие-то документы — и везде получал отказ. Вежливый, стандартный, напечатанный на бланке, но от этого не менее унижительный.

И тогда кто-то — я так и не узнал, кто именно, — порекомендовал ему обратиться к частным займодавцам. К людям, которые дают в долг быстро, без лишних вопросов, без бюрократической волокиты. Без всего. Просто деньги в руки — и всё, иди, работай, отдашь потом. Отец, загнанный в угол необходимостью, согласился. Он взял сумму, по меркам банкиров — смехо-

творную, по нашим меркам — огромную, купил оборудование и начал выплачивать долг. Проценты, однако, оказались такими, что основная сумма почти не уменьшалась. Он платил и платил, но долг висел на нем, как гиря на шее утопленника, утягивая всё глубже в трясину. А потом платежи начали задерживаться — то клиентов было мало, то крупный заказ сорвался, то пришлось потратиться на ремонт крыши, которую пробило ураганом. Обычные проблемы маленького бизнеса. Но кредиторы не интересовались проблемами — они интересовались деньгами.

Я узнал, что к отцу уже приходили. Дважды. Первый раз — просто поговорить, предупредить, напомнить о сроках. Второй раз — уже жестче, с угрозами, но пока еще только словесными. И вот теперь, в тот самый день, когда всё рухнуло, они должны были прийти в третий раз. Третий визит, как я понял позже, по их правилам, был последним предупреждением. Дальше шли действия — страшные, необратимые, те самые, о которых шептались в подворотнях.

Тот день я запомнил с фотографической точностью, до мельчайшей детали, до последнего оттенка серого в тяжелом, набухшем дождем небе. Память выжгла его во мне, как лазер выжигает изображение на металлической пластине, — слой за слоем, навсегда, не стереть, не закрасить. Был вторник. Не знаю, почему именно вторник, а не какой-нибудь другой день, но это был вторник. Шел дождь — редкий для римской зимы, не тот легкий, почти ласковый дождик, что накрапывает и быстро проходит, а затяжной, холодный, пронизывающий до костей ливень, который зарядил с самого утра и не собирался прекращаться. Капли барабанили по крыше с монотонным, гипнотическим упорством, стекали по стеклам, превращая вид из окна в размытое, дрожащее серое полотно. Мир за окном утратил четкость очертаний, стал зыбким, нереальным, словно отражение в воде, потревоженной брошенным камнем.

Отец вернулся рано — около четырех часов дня. Это было первым знаком беды, но я, занятый уроками, не сразу придал этому значение. Я сидел на кухне, разложив на столе тетради и учебники, и пытался решить задачу по математике, которую задал брат Паоло. Задача была про бассейн с двумя трубами — одна наполняет, другая вытекает, и надо посчитать, за сколько наполнится бассейн. Я ненавидел эти задачи. Они казались мне бессмысленными, оторванными от жизни — кому придет в голову наполнять бассейн, одновременно сливая из него воду? Но сейчас, вспоминая ту задачу, я вижу в ней мрачную метафору нашей жизни: что-то втекает, что-то вытекает, и никогда не знаешь, сколько у тебя осталось времени, пока не станет слишком поздно.

Хлопнула входная дверь. Я обернулся — и не узнал отца. Нет, это был он, тот же человек, которого я видел каждый день своей жизни, но что-то в нем неуловимо изменилось. Лицо его, обычно смуглое от работы на солнце и в полутьме мастерской, стало серым, пепельным, как то небо за окном. Глаза, всегда живые, искрящиеся юмором, потухли, словно кто-то выключил в них свет. В них стояло выражение, которого я никогда не видел раньше и которого, наверное, никогда не должен был увидеть у своего отца. Страх. Не тревога, не беспокойство, не озабоченность — а самый настоящий, глубинный, животный страх. Мой отец, сильный, уверенный, несокрушимый Марко Росси, боялся. И это перевернуло что-то у меня внутри, сломало какой-то стержень, на котором держалась моя детская вера в незыблемость мира.

«Мария!» — позвал он, и голос его прозвучал хрипло, надтреснуто.

Мать вышла из своей комнаты, вытирая руки о передник — жест, который я видел тысячи раз и который всегда означал, что она оторвалась от работы на минуту и сейчас вернется

обратно, к своим тканям и ниткам. Но сейчас она не вернулась. Она взглянула на отца, и всё поняла без слов. За столько лет брака они научились общаться на каком-то особом языке, недоступном мне, — языке взглядов, микрожестов, неуловимых изменений в позе и выражении лица. Телепатия, говорила мать в шутку. Но это была не телепатия — это была любовь, та глубокая, многолетняя близость, которая позволяет чувствовать состояние другого человека так же ясно, как свое собственное.

«Алессандро, — сказала мать спокойным голосом, но я услышал, как дрогнула и надломилась нотка в самой его глубине, — иди в свою комнату и не выходи, пока я тебя не позову».

«Но мама, я не доделал уроки...» — начал было я, пытаюсь ухватиться за нормальность, за привычный ритуал, за что-то, что могло бы удержать мир от надвигающегося разрушения.

«Иди. Сейчас же. Не спорь».

Родители редко говорили со мной таким тоном — твердым, не допускающим возражений, с металлическими нотками приказа. Обычно они объясняли, убеждали, а не командовали. Это было еще одним знаком того, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Я подчинился. Поднялся по скрипучей лестнице в свою маленькую комнату под крышей, сел на кровать и прислушался. Снизу доносились голоса — родители снова спорили, но теперь в их голосах звучало не раздражение, а отчаяние. Глухое, безысходное отчаяние людей, которые понимают, что все возможные выходы закрыты, и осталось только ждать удара. Я не разбирал отдельных слов, только интонации — страх, бессилие, любовь, горечь, попытки найти решение там, где его быть не могло. Отец что-то говорил, мать отвечала, потом они замолчали, и тишина эта была хуже любого крика. Она была наполнена смыслом — смыслом прощания, хотя я тогда еще не понимал этого.

А потом я услышал звук. Тот самый звук, который до сих пор иногда снится мне в кошмарах и заставляет просыпаться в холодном поту. Громкий, тяжелый, настойчивый стук в дверь. Нет — не стук, это не то слово. Стук — это когда приходит соседка за солью или почтальон с заказным письмом. Это были удары. Мощные, ритмичные, не терпящие возражений удары кулаком — или, может быть, чем-то более тяжелым, — от которых содрогалась дверная коробка и, казалось, вибрировал весь дом. Так стучат только те, кто знает, что им откроют. Те, кто привык, что перед ними открываются любые двери — либо добровольно, либо силой.

«Откройте! Росси! Мы знаем, что вы дома!»

Голос был грубым, хриплым, пропитанным никотином, дешевым вином и той особой жестокостью, которая не нуждается в громких словах, потому что она выражается в самих интонациях. Голос человека, который привык к тому, что его боятся, и получает от этого извращенное удовольствие.

Я подкрался к лестнице и выглянул в щель между перилами. Сердце колотилось так сильно, что, казалось, его стук должен быть слышен на весь дом. Отсюда мне была видна часть прихожей и кусок гостиной. Я видел, как отец, тяжело ступая, словно идя на эшафот, подошел к двери и открыл ее.

На пороге стояли трое. Я запомнил их мгновенно — память в минуты опасности работает с невероятной четкостью, фиксируя каждую деталь, каждый нюанс, каждую мелочь, которая

в обычной жизни прошла бы мимо сознания. Первый — высокий, массивный, с квадратной челюстью и маленькими, глубоко посаженными глазами, сверкавшими из-под кустистых бровей, как два буравчика. Его лицо было изрезано старыми шрамами — один тянулся через всю левую щеку, от скулы до уголка рта, придавая лицу постоянное, застывшее выражение кривой усмешки. Одет он был в потертую кожаную куртку, явно дорогую когда-то, но теперь выдавшую виды. Руки его, свисавшие почти до колен, были огромны, как кувалды, которыми отец крушил старые кузова, и я сразу понял, что этот человек привык решать проблемы силой.

Второй был полной противоположностью первому — невысокий, щуплый, нервный, с бегающими, водянистыми глазками, которые ни на секунду не останавливались на чем-то одном. Он постоянно переминался с ноги на ногу, крутил головой, потирал руки — словно в него был встроен какой-то моторчик, не дающий ему оставаться в покое. Одет он был чуть лучше первого — пиджак, явно с чужого плеча, мешковато висевший на худых плечах, мятая рубашка с темным пятном на воротнике. В руках он вертел какую-то безделушку — кажется, зажигалку, — и это непрерывное мельтешение действовало на нервы.

Третий держался позади, и именно он привлек мое внимание больше всего. Он был старше двух других — лет пятидесяти, может быть, чуть больше, с сединой, благородно серебрившей виски, и лицом, которое могло бы показаться красивым, если бы не выражение холодного, безжалостного ума, застывшее в каждой черте. Одет он был безупречно — дорогое пальто из темной шерсти, шарф, перчатки, — и держался с той естественной властью, которая не нуждается в демонстрации силы. Он ничего не говорил, просто стоял и смотрел, чуть склонив голову набок, как орнитолог, наблюдающий за редкой птицей. Но именно от этого молчаливого, оценивающего взгляда мне стало по-настоящему страшно. В первых двух чувствовалась грубая, примитивная угроза — она была понятна, осязаема, ее можно было осознать и, может быть, даже принять. А в этом, третьем, было что-то гораздо более опасное — ум, расчет, способность планировать и предвидеть. Это был хищник высшего порядка.

«Марко Росси, — произнес тот, что со шрамами, растягивая слова с явным удовольствием. — Ты должен нам за три недели. Мы были очень, очень терпеливы. Но терпение — не бесконечный ресурс, знаешь ли. Даже у святых терпение кончается, а мы, как ты мог заметить, не святые».

Отец выпрямился, стараясь сохранить достоинство, хотя я видел, каких усилий ему это стоило. «Я достану деньги. Нужно еще немного времени. Клиент обещал заплатить на следующей неделе, и тогда я смогу закрыть весь долг».

«Клиент обещал! — шрамированный расхохотался, запрокинув голову, и смех его был похож на собачий лай. — Ты слышал, Энцо? Клиент ему обещал! А ты нам обещал, Росси. Две недели назад обещал. Неделю назад обещал. И где обещанное?»

Он шагнул вперед, и отец отступил. Совсем чуть-чуть, на полшага, может быть, даже неосознанно — просто рефлекс, инстинктивное движение человека, который хочет сохранить дистанцию. Но этого оказалось достаточно. Бандиты почуяли слабость, как акулы чувят кровь в воде. Они вошли в дом, не спрашивая разрешения, не дожидаясь приглашения, — просто отодвинули отца в сторону и заполнили собой пространство прихожей, вытеснив из него уют, покой, безопасность.

«Хороший у тебя дом, — протянул нервный, крутя головой по сторонам и бегая глазами по обстановке. — Мебель, техника, ковры... А говоришь, денег нет. Может, нам взять что-нибудь в залог? В счет долга? Чтобы у тебя была дополнительная мотивация поторопиться?»

Он подошел к полке, где стояли мамины безделушки — маленькие фарфоровые статуэтки, которые она собирала всю жизнь. Некоторые были подарками, некоторые — купленными на распродажах, некоторые привезенными из Неаполя, от бабушки. Для постороннего глаза — просто пыльные фигурки, не имеющие никакой ценности. Но для матери это была целая сокровищница памяти, каждая статуэтка хранила какую-то историю, какое-то воспоминание. Нервный взял одну из них — балерину в белой пачке, ту самую, которую бабушка подарила матери на свадьбу — и, прежде чем кто-то успел что-то сказать, разжал пальцы. Статуэтка упала на пол и разбилась на десятки белых осколков, разлетевшихся по темным половицам, словно кости какого-то хрупкого, беззащитного существа.

Мать вскрикнула — коротко, сдавленно, но в этом вскрике было столько боли, что у меня сжалось сердце. Отец дернулся, словно хотел броситься на обидчика, но шрамированный толкнул его в грудь своей огромной лапицей, и отец пошатнулся, ударился спиной о стену.

«Спокойно, спокойно, — проговорил шрамированный с ленивой угрозой. — Мы просто оцениваем обстановку. Проводим, так сказать, инвентаризацию имущества. Должны же мы понимать, с кем имеем дело и на что можем рассчитывать».

Они действительно начали «оценивать». Это было методичное, почти деловитое разграбление. Нервный открывал шкафы, выдвигал ящики, переворачивал вещи, шарил по полкам, выискивая ценности. Он двигался по дому, как крыса, — быстро, суетливо, заглядывая во все щели. Нашел мамину шкатулку — маленькую деревянную коробочку с инкрустацией, где она хранила скромные сбережения, «на черный день», как она говорила. Высыпал содержимое на стол — купюры разного достоинства, несколько монет — и принялся пересчитывать, шевеля губами и хмурясь, как будто производил в уме сложные арифметические вычисления. «Тут даже на проценты не хватит, — подвел он итог, сгребая деньги в карман своего мешковатого пиджака. — Ты нас за дураков держишь, Росси? Думал, мы придем, увидим эту жалкую горсть мелочи и простим тебе долг из жалости?»

Шрамированный тем временем прошелся по гостиной, трогая вещи своими ручищами — брал в руки, разглядывал, ставил на место с издевательской аккуратностью. Он остановился у фотографии на стене — нашего семейного снимка, сделанного прошлым летом в Остии, во время нашей единственной поездки к морю. Там мы стояли вдвоем на фоне заката — отец в своей единственной приличной рубашке, мать в платье, которое сама сшила специально для этого дня, и я между ними, счастливый, со слипшимися от мороженого пальцами. Шрамированный взял рамку, повертел в руках, хмыкнул. «Красивая семья. Очень красивая. Жалко будет, если с ней что-то случится».

Это была прямая угроза. Не завуалированная, не замаскированная — прямая, как удар ножом. Я увидел, как побледнела мать. Увидел, как сжались кулаки отца. И увидел, как третий, тот, что стоял позади, чуть улыбнулся — уголками губ, почти незаметно, но эта тень улыбки была страшнее любой гримасы.

Отец попытался что-то сказать. Он открыл рот — и в этот момент тот, третий, молчаливый, с сединой на висках и холодными глазами, поднял руку. Просто поднял — не резко, не

угрожающе, а спокойно, властно, как дирижер, останавливающий оркестр. И всё замерло. Даже его подручные, даже шрамированный с его кулаками и нервный с его бегающими глазами, — все застыли, ожидая, что скажет главарь.

«Послушай, Росси, — заговорил он, и голос его оказался тихим, вкрадчивым, почти дружелюбным. В нем не было ни угрозы, ни злобы — только спокойная, уверенная властность человека, который знает, что его слова — закон. — Мы не звери. Мы не садисты. Мы не получаем удовольствия от чужой боли. Мы просто деловые люди, которые хотят вернуть свои деньги. Ты взял — ты должен отдать. Это бизнес, ничего личного. Но бизнес есть бизнес, и в нем есть правила. Одно из главных правил: если ты не можешь отдать долг деньгами, ты отдаешь его чем-то другим. Своим имуществом. Своим временем. Своей свободой. Или — чем-то еще. Ты понимаешь, о чем я?»

Отец не ответил. Он стоял, прижатый к стене, — не физически, но морально, психологически, сломленный этим тихим, вкрадчивым голосом, который был страшнее любых криков. Я видел, как что-то угасло в его глазах — та последняя искра надежды, которая еще теплилась, пока враг был понятен и предсказуем. А этот человек не был понятен. От него веяло холодом — тем особым холодом, который исходит от людей, полностью лишенных эмпатии, для которых другие люди — не более чем фигуры на шахматной доске, расходный материал в большой игре.

Главарь обвел взглядом комнату — спокойным, оценивающим, сканирующим взглядом, — и на мгновение его глаза задержались на лестнице, ведущей наверх. На мгновение, которое показалось мне вечностью. На мгновение, за которое я успел прожить целую жизнь и умереть сотню раз. Мне показалось, что он смотрит прямо на меня, сквозь щель в перилах, сквозь темноту, сквозь расстояние — прямо в мои расширенные от ужаса зрачки. Я отпрянул, зажав рот ладонью, чтобы не закричать, и сердце колотилось где-то в горле, мешая дышать.

А потом всё пошло не так. Всё покатилося к черту, сорвалось в пропасть, в тартарары — и никакая сила в мире не могла уже остановить это падение.

Я до сих пор не знаю точно, что послужило спусковым крючком. Моя память, обычно такая четкая и детальная, в этом месте дает сбой — словно киноплёнка, которая дергается, рвется и склеивается заново с пропусками и искажениями. Психика защищает себя, говорят психологи, она стирает самые страшные моменты, амнезирует травму. Может быть, так оно и есть. Помню только крик матери — пронзительный, нечеловеческий, полный ужаса и ярости одновременно. Помню грохот — что-то тяжелое упало, опрокинулось, разбилось. Помню звук удара — глухой, отвратительный, влажный, тот самый звук, с которым плоть встречается с грубой силой. Кажется, отец попытался остановить нервного, когда тот схватил что-то особенно ценное — может быть, мамины золотые сережки, бабушкино наследство, всё, что осталось у матери от ее семьи. Или просто толкнул его в ответ на очередную грубость, очередное издевательство, очередное оскорбление, которое переполнило чашу терпения. Неважно. Важно то, что мой отец, мирный автомеханик, человек, который за всю свою жизнь ни разу не поднял руку на другого человека (кроме как в шутку, да и то редко), сделал что-то, что разозлило бандитов. Сделал что-то, что они восприняли как вызов. А вызовов эти люди не прощали.

Дальнейшее я помню урывками, вспышками, словно смотрю на произошедшее через разбитое зеркало, каждый осколок которого отражает свой фрагмент ада. Звон стекла — это разбилось окно, когда кто-то в кого-то швырнул стул. Глухой удар падающего тела — это отец рухнул на пол, сбитый с ног мощным хуком шрамированного. Кровь на его лице — алая, яркая,

неестественно яркая в тусклом свете лампы, стекающая из рассеченной брови и заливающая глаза. Мать кричит — нет, не кричит, воет, как раненая волчица, защищающая своего детеныша, — и бросается к отцу, но нервный перехватывает ее, держит за локоть, выкручивает руку, не давая дотянуться до мужа.

А я... Я бегу вниз по лестнице, забыв обо всем, забыв о страхе, забыв о приказе матери сидеть в комнате. Я вижу отца, лежащего на полу в луже собственной крови. Я вижу мать, которую держат, и лицо ее искажено болью и ненавистью. Я вижу шрамированного, который стоит над отцом, потирая костяшки пальцев с выражением брезгливого удовлетворения на изуродованном лице. Я вижу нервного, который что-то кричит, брызжа слюной. И я вижу главаря — он сидит на диване, закинув ногу на ногу, и наблюдает за происходящим с выражением легкой скуки, словно смотрит посредственный спектакль в дешевом театре.

«Папа!» — кричу я, и мой голос срывается на визг.

Я бросаюсь к отцу, но спотыкаюсь о перевернутый стул, лежащий на полу, и падаю, больно ударившись коленом о деревянный угол. Шрамированный оборачивается на шум, видит меня и ухмыляется — медленно, растягивая рот в щель, обнажая желтые прокуренные зубы.

«А это у нас кто? — произносит он с издевательским удивлением. — Сынок? Наследник? Может, с ним поговорить, Росси? Может, это поможет тебе вспомнить, где лежат деньги? Дети — они такие хрупкие. Такие уязвимые. Одно неосторожное движение — и всё, нет ребенка. Ты же не хочешь, чтобы с твоим мальчиком что-то случилось, правда?»

Он делает шаг ко мне — один только шаг, но этого достаточно, чтобы меня парализовало ужасом. Я смотрю на его огромные ручки, на шрамы, пересекающие лицо, на маленькие глазки, горящие жестокостью, и понимаю, что этот человек убьет меня не задумываясь. Просто потому, что это в его природе. Как собака кусает, как кошка царапает, как скорпион жалит — так этот человек убивает. Это его суть, его функция, его предназначение.

«Не трогайте его! — голос матери перекрывает весь шум, весь грохот, все крики. Он звучит так, словно исходит не из человеческого горла, а откуда-то из глубины земли, из самого основания бытия. — Не смейте прикасаться к моему сыну!»

Она вырывается из рук нервного — яростным, отчаянным рывком, которого никто от нее не ожидал, — хватает со стола тяжелую бронзовую лампу (единственную по-настоящему ценную вещь в нашем доме, старую, еще бабушкину, с зеленым абажуром и витиеватой ножкой) и швыряет ее в шрамированного. Лампа летит, вращаясь в воздухе, как неуклюжая металлическая птица, и попадает ему в плечо — не в голову, куда метила мать, но достаточно сильно, чтобы он пошатнулся, выругался сквозь зубы и на мгновение отвлекся от меня.

Этого мгновения хватает, чтобы хаос, до сих пор тлевший под спудом, взорвался с полной силой. Драка вспыхивает, как бензин от спички, — мгновенно, неудержимо, всепоглощающе. Отец, каким-то чудом нашедший в себе силы подняться, бросается на шрамированного сзади. Нервный пытается снова схватить мать, но она выворачивается, царапается, кусается, дерется с яростью тигрицы, защищающей логово. Крики, удары, звон бьющейся посуды, треск ломающейся мебели — всё сливается в один неразличимый грохот, в какофонию разрушения.

А потом — запах дыма.

Я не знаю, кто опрокинул керосиновую лампу. Это могло случиться в суматохе, когда кто-то толкнул стол, на котором она стояла. Это могло быть случайностью — роковой, неправимой случайностью. А могло быть и намеренным действием. И эта вторая мысль до сих пор преследует меня по ночам, лишая сна и покоя. Может быть, главарь, видя, что ситуация выходит из-под контроля, решил замести следы радикальным способом. Может быть, он подал знак кому-то из своих. Может быть, поджог был планом Б на случай, если запугивание не срабатывает. Я не знаю. И уже никогда не узнаю.

Огонь вспыхнул мгновенно. Старый деревянный дом, сухой, как трут, пропитанный десятилетиями машинного масла, растворителей, тканей и лаков, вспыхнул как спичечная головка. Языки пламени побежали по шторам — маминым занавескам, которые она сама сшила прошлой весной, — пожирая их с невероятной скоростью. Потом по половицам, по мебели, по стенам, оклеенным бумажными обоями, которые тоже были сухими и старыми. За какие-то секунды комната превратилась в пылающий ад, в огненную ловушку, из которой был только один выход — входная дверь.

«Пожар!» — заорал кто-то, кажется, нервный, и в его голосе звучал неподдельный ужас. Даже эти головорезы, привыкшие к виду крови и насилия, испугались огня — стихии слепой, безжалостной, не разбирающей, кто прав, кто виноват.

Бандиты бросились к выходу, расталкивая друг друга. Шрамированный, забыв о своей крутости, оттолкнул нервного так, что тот влетел в стену, и рванул к двери. Нервный, матерясь и прижимая к груди обожженную руку, кинулся следом. Главарь ушел последним — не торопясь, не бегом, а спокойным, размеренным шагом, словно покидал не горящий дом с живыми людьми внутри, а скучное совещание, которое затянулось дольше запланированного. Он даже не обернулся. Я видел его спину, прямую и элегантную, обтянутую дорогим пальто, видел серебристые волосы, мелькнувшие в проеме двери, и потом он исчез в темноте вечера, как призрак, как дьявол, возвращающийся в свой ад.

А мы остались. Отец лежал на полу, оглушенный, раненый, может быть, более серьезно, чем казалось снаружи — сотрясение мозга, внутреннее кровоизлияние, кто знает? Мать подбежала ко мне, схватила за руку, дернула вверх, заставляя подняться с колен.

«Алессандро, быстро наверх! Быстро!»

Огонь уже отрезал путь к входной двери. Стена пламени стояла между нами и выходом, жар был нестерпимый, он опалял лицо, сушил глаза, забивал дыхание. Дым, густой и черный, как сама смерть, заполнял комнату, заволакивал всё вокруг удушливой пеленой. Мы бросились к лестнице — это был единственный путь, оставшийся открытым. За спиной что-то рухнуло с грохотом — кажется, потолочная балка, старая, трухлявая, не выдержавшая жара. Дом умирал, и его смерть была страшной и громкой.

«Папа! — закричал я, оборачиваясь на бегу. — А папа?»

Отец не двигался. Он лежал там, в гостиной, в нескольких метрах от разрастающегося пламени, и не подавал признаков жизни. Мать, которая уже поднималась по лестнице, толкая меня впереди себя, остановилась. Я увидел ее лицо — лицо женщины, перед которой встал

выбор, самый страшный выбор, какой только может представить себе человек. Подниматься наверх, спасать сына — или вернуться в огонь, к мужу.

«Беги наверх! — крикнула она мне. — Открой окно! Я сейчас!»

И она метнулась обратно. В самое пекло. Я видел, как ее фигура исчезает в клубах черного дыма, и в этот момент что-то во мне оборвалось. Какая-то струна лопнула, какой-то стержень сломался. Я продолжал карабкаться вверх по лестнице, кашляя и задыхаясь, а перед глазами стояла картина: мать, исчезающая в дыму, как ангел, добровольно спускающийся в преисподнюю.

Моя комната. Огонь еще не добрался сюда, но дым уже просачивался сквозь щели в полу, и жар снизу нагревал доски, делая их горячими на ощупь. Я бросился к окну, распахнул его — и холодный, влажный воздух хлынул в комнату, как благословение. Дождь всё еще шел, и его капли, попавшие на мое лицо, показались мне слезами Бога. Я высунулся наружу, оценивая расстояние до земли. Второй этаж — не так высоко, но всё равно страшно. Внизу — задний двор, мощный булыжником, и мусорный бак, большой, железный, с горбатым силуэтом. Если прыгнуть на бак, а потом с него на землю — можно уцелеть. Теоретически. Если повезет.

Сзади послышался шум, треск, и из дыма на лестнице появились две фигуры, шатающиеся, хватающиеся друг за друга. Мать и отец. Она тащила его на себе, практически волокла, потому что он едва переставлял ноги. Лицо отца было залито кровью, одежда местами обгорела, но он был жив, он двигался, он был здесь.

«Прыгай! — крикнула мать, вваливаясь в комнату и почти швыряя отца на пол у окна. — Алессандро, прыгай, сейчас же!»

«Я не прыгну без вас!»

«Прыгай, я сказала! Не спорь со мной!»

Она схватила меня за плечи — не ласково, не нежно, а грубо, отчаянно, сильно, так, что потом, через много дней, я обнаружу синяки от ее пальцев на своих руках. И вытолкнула меня в окно.

Мир перевернулся. Полет — свободный, неконтролируемый, бесконечный, хотя на самом деле он длился долю секунды. Свист ветра в ушах. Мелькание серого неба, мокрых стен, черного провала двора. Удар — жесткий, болезненный, выбивающий воздух из легких. Звон металла — я попал точно на крышку мусорного бака, прокатился по ней, услышал, как прогибается подо мной железо, и рухнул на булыжники двора. Боль — тупая, пульсирующая, разливающаяся по всему телу. Темнота на мгновение — только на мгновение, — и потом свет снова возвращается.

Я лежал на мокрых булыжниках, глядя в небо, и пытался вдохнуть. Воздух не шел — диафрагму парализовало спазмом, легкие отказывались работать. Прошло, наверное, секунд десять, прежде чем я наконец смог сделать первый вдох — хриплый, болезненный, но живой. А потом я обернулся к дому.

Окно моей комнаты полыхало. Огонь вырывался наружу оранжево-черными языками, освещая весь двор адским, пульсирующим светом. В проеме окна мелькнул силуэт — мать. Она стояла там, на фоне огня, держа на себе отца, который, кажется, был без сознания. Она что-то кричала мне — я видел, как открывается и закрывается ее рот, — но слов не слышал. Треск пламени, грохот рушащихся конструкций заглушал всё. Но я видел ее лицо. Боже мой, я видел ее лицо. В нем было всё — страх за меня, любовь, отчаяние, мольба и странное, непостижимое спокойствие. Спокойствие человека, который принял свою судьбу и прощается с миром.

Я успел увидеть, как она подняла руку — то ли благословляя, то ли прощаясь, то ли просто пытаюсь дотянуться до меня сквозь пространство. А потом крыша рухнула.

Звук был чудовищный — такой звук, наверное, издает гора, когда обваливается в море. Дерево, кирпичи, черепица — всё это сложилось внутрь, провалилось, исчезло в ревущем пламени. Окно моей комнаты, еще секунду назад бывшее проемом, в котором стояла моя мать, исчезло. Его больше не было. Их больше не было. Только огонь, только дым, только искры, улетающие в ночное небо.

Я закричал. Нет — я завыл. Этот звук вырвался из меня сам, без участия сознания, — животный, первобытный вой раненого зверя. Я попытался встать, чтобы броситься обратно в дом, но тело не слушалось — нога подвернулась при падении и отказывалась держать вес. Я пополз по булыжникам, обдирая ладони в кровь, пытаюсь добраться до пылающей стены, но кто-то схватил меня сзади, оттащил от огня. Я боролся, вырывался, кричал, звал родителей по именам — всё было бесполезно.

Потом, много позже, соседи рассказывали мне, что это был старый Федерико, тот самый, которому отец чинил машину бесплатно, — он жил напротив и первым выскочил на улицу, когда увидел зарево. Это он оттащил меня от огня, это он держал меня, пока я бился в истерике, это он завернул меня в свое пальто и отвел на безопасное расстояние. Сам я этого не помню. Моя память обрывается на моменте падения крыши, и дальше — темнота, пустота, провал.

Пожарные приехали быстро — сирены взрезали ночную тишину, когда дом уже догорал. Старое здание, построенное из сухого дерева и дешевой штукатурки, сгорело до основания за какой-то час. Пожарные делали, что могли, — поливали соседние дома, чтобы огонь не перекинулся дальше, разбирали завалы, искали выживших. Но выживших не было. Я сидел на холодных булыжниках мостовой, на безопасном расстоянии от пожарища, завернутый в чужое пальто, пахнущее табаком и старостью, и смотрел, как умирает мой мир. Кто-то пытался со мной заговорить — полицейские в форме, пожарные в касках, соседи с испуганными лицами. Я не отвечал. Я даже не слышал их. Я просто смотрел на огонь.

Огонь — это удивительная вещь. В нем есть что-то гипнотическое, завораживающее, не позволяющее отвести взгляд. Языки пламени танцевали на обугленных балках, перебегали с одного предмета на другой, пожирали остатки мебели, одежды, книг. Наших жизней. Я смотрел на то, что еще сегодня утром было диваном, на котором я делал уроки, столом, за которым мы ужинали, шкафом, где мать хранила свои ткани. Теперь всё это было пищей для огня, и огонь ел жадно, с аппетитом, урча и потрескивая от удовольствия.

Пепел летел в ночное небо, кружился в свете прожекторов, оседал на моих волосах, на пальто, на мокрой мостовой. Серые хлопья, легкие, как пух, и тяжелые, как смерть. Я протянул руку — на ладонь опустилась одна из них, еще теплая, и я смотрел на нее, пока она не

рассыпалась в пыль от моего дыхания. Пепел. Всё, что осталось от моей семьи. От отца, который учил меня чести и достоинству. От матери, которая учила меня видеть красоту в простых вещах. От дома, который был моей крепостью, моей вселенной, моим убежищем. Пепел — и больше ничего.

Дождь прекратился. Небо очистилось от туч, и стали видны звезды — холодные, равнодушные, далекие. Они были там всегда, думал я, и будут там всегда, и им нет никакого дела до того, что происходит на этой крошечной планете. Кто-то рождается, кто-то умирает, кто-то теряет всё — а они светят. Просто светят. И этот контраст между вечностью звезд и хрупкостью человеческой жизни поразил меня в самое сердце. Я почувствовал себя песчинкой, пылинкой, случайным сгустком материи, который возник на краткий миг и сейчас исчезнет, растворится без следа.

Меня отвели в дом к синьоре Альбертини. Та самая синьора Альбертини, чье платье так хвалили в церкви, — толстая, добрая женщина с руками, вечно испачканными мукой, и сердцем, способным вместить в себя все печали мира. Она уложила меня на диване в своей гостиной, застелила чистыми простынями, принесла горячего чая с медом и сидела рядом, глядя меня по голове своей мягкой, теплой ладонью. Она что-то говорила — слова утешения, слова сочувствия, слова веры. Я не слышал. Я всё еще был там, перед горящим домом, видел лицо матери в окне, слышал треск рушащейся крыши, чувствовал запах дыма, который, казалось, вьелся в меня до самой сердцевины.

Ночью, лежа на чужом диване в чужой гостиной, я закрывал глаза — и снова видел их. Троиц. Шрамированного, который смеялся, глядя на нашу боль, и чьи кулаки сломали моего отца. Нервного, который разбил мамину статуэтку и шарил по нашему дому, как крыса. И того, третьего, с холодными глазами и серебряными висками, который ушел последним, не обернувшись, словно мы были для него не людьми, а мусором, пылью под ногами. Я запомнил их лица с фотографической четкостью. Каждую черточку. Каждый шрам. Каждую морщину. Я мог бы нарисовать их по памяти, хотя никогда не умел рисовать. Я мог бы описать их полицейскому художнику, каждую деталь, каждый нюанс. Но я знал — в глубине души, где еще теплилась искра разума, — что полиция ничего не сделает. Эти люди были частью системы, частью мира, который существовал по своим законам, параллельным официальным. Их не судили, их не ловили, их не наказывали — с ними договаривались. Или им платили. Или их боялись.

Я не плакал в ту ночь. Слезы придут позже, через несколько дней, когда первая волна шока отступит и реальность произошедшего наконец пробьет защитные барьеры психики. А пока внутри была только пустота. Огромная, черная, бездонная пустота, в которой исчезло всё — любовь, надежда, будущее. Я лежал с открытыми глазами, смотрел в потолок и думал только об одном. О мести. Это слово пульсировало в моем сознании, как второе сердце, — месть, месть, месть. Оно вытеснило собой все остальные мысли, все чувства, все желания. Я не думал о том, что будет дальше, где я буду жить, кто обо мне позаботится. Я думал только о том, что однажды найду этих троих. И заставлю их заплатить. За отца. За мать. За дом. За всё.

Утром я пошел к тому, что осталось от нашего дома. Синьора Альбертини пыталась меня остановить — говорила, что мне не нужно этого видеть, что это слишком тяжело для ребенка. Но я не был больше ребенком. Детство закончилось вчера вечером, когда обрушилась крыша, похоронив под собой моих родителей. Я чувствовал себя старым, древним, как римские руины, — таким же разрушенным и пустым.

Пожарные еще работали — разбирали обгоревшие конструкции, что-то измеряли, фотографировали, заполняли бланки. От дома остались только остовы стен, черные от копоти, и груда мокрых, дымящихся обломков. Всё было пропитано запахом гари — едким, химическим, въедливым запахом, который, казалось, ничем не вытравить. Я стоял в стороне и смотрел на то, что когда-то было моим миром. Вот здесь была прихожая, где мы снимали обувь, входя с улицы. Здесь — гостиная, где стоял старый дубовый стол. Здесь — лестница, ведущая наверх. Здесь — кухня, где по утрам пахло кофе и свежим хлебом. Всё это превратилось в угли, пепел и мусор.

Я подошел ближе, ступая по обломкам, чувствуя, как под ногами хрустит битое стекло и обгоревшее дерево. В груде мусора что-то блеснуло — слабый металлический отблеск в сером утреннем свете. Я наклонился, разгреб мусор руками и поднял с земли маленький кусочек металла. Это была половина отцовского брелока — ключ от мастерской, тот самый, который он всегда носил с собой, который позвякивал в его кармане, когда он ходил. Вторая половина брелока расплавилась в огне, деформировалась, превратилась в бесформенный кусочек металла. Но на уцелевшей части еще можно было разглядеть гравировку — «M.R.», Марко Росси. Я сжал этот обломок в кулаке, чувствуя, как острые края впиваются в ладонь, разрезая кожу. Боль была отрезвляющей, живительной, она возвращала меня к реальности. Кровь выступила на ладони, смешалась с пеплом, и я смотрел на эту красно-серую смесь, как на символ, как на знамение, как на завет.

И тогда, стоя посреди руин всего, что я любил, сжимая в кулаке обломок отцовского брелока и чувствуя, как кровь течет по пальцам, я дал себе клятву. Первую настоящую клятву в моей жизни. Я, Алессандро Росси, единственный выживший, единственный, кто остался от семьи, клялся памятью отца, памятью матери, своей собственной кровью, пролитой на этом пепелище, — клялся, что найду этих троих. Что отомщу. Что восстановлю справедливость, даже если весь мир будет против, даже если это займет всю мою жизнь, даже если для этого мне придется пройти через ад и самому стать дьяволом.

Мне было двенадцать лет. Я не знал тогда, сколько времени займет этот путь. Я не знал, через что мне придется пройти. Я не знал, что судьба — или кто-то там наверху, кто пишет сценарии наших жизней, — уже начертила мой маршрут, извилистый и темный, ведущий через боль, потери, предательства и кровь. Я не знал, что однажды я стану частью того самого мира, который уничтожил мою семью. Что я сам буду носить дорогие костюмы, ездить на дорогих машинах и отдавать приказы, от которых будет зависеть жизнь и смерть других людей. Что я стану одним из них — и в то же время навсегда останусь тем двенадцатилетним мальчиком, который стоит на холодной улице и смотрит, как догорает его прошлое.

Но всё это будет потом. А пока — холодное февральское утро, серое небо над Римом, запах пепла и крови, и я, стоящий на руинах с обломком ключа в кулаке. Мальчик, у которого отняли всё. Мальчик, которому нечего терять. Мальчик, который еще не знает, каким человеком он станет, но уже точно знает, что прежним ему не быть никогда. Никогда.

Где-то вдалеке, за крышами Сан-Лоренцо, зазвонили колокола церкви Санта-Мария-Маджоре. Их звон плыл над городом, низкий и торжественный, возвещая начало нового дня. Для всего мира это был обычный день. Для Рима — еще одна среда, еще одна дата в календаре, еще один восход солнца над Вечным городом. Для меня — первый день моей новой жизни. Жизни, в которой больше не было места детству, невинности, простому счастью. Жизни, в которой отныне правила бал только три вещи. Пепел прошлого, который я буду носить в себе

до самой смерти. Память о родителях, которая будет вести меня вперед и не давать свернуть с пути. И клятва, выжженная в самом сердце огнем, гораздо более жарким, чем тот, что уничтожил наш дом. Клятва, которую я исполню, даже если это будет стоить мне души.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.